

ОСЕНЬ

Рассказ Никиты Янева (Соловки, 2002)



НИКИТА ЯНЕВ родился на Украине. Учился в Московском государственном педагогическом институте. Работал продавцом, учителем, прессовщиком на заводе, **смотрителем Ботанического сада на Соловецких островах...** Опубликовал стихи и прозу в журналах "Волга" (Саратов), "Арион" (Москва), "День и ночь" (Красноярск), "Крещатик" (Мюнхен). Первая книга поэта вышла в 2004 году: *Никита Янев. Гражданство. Авторский сборник. Издательство: ОГИ, 2004 г.*

Вот я лежу и думаю, под кодовым названием, где провести эту осень думы мои. Потому что была возможность остаться на Соловках на осень смотрителем на Секирной горе на сентябрь, октябрь, ноябрь. А может быть, и дальше. А вы знаете, что такое на Соловках осень? Про это знает Димедролыч. Когда схлынут туристы, хорошие, нехорошие, талантливые, любознательные, порочные, пьющие, красивые, чистые, некрасивые, грубые, девушки, прекрасные как ангелы у Боттичелли и делла Франчески, мужчины с животиками, начальники, подчиненные, верующие, неверующие, туристы, паломники, экскурсоводы, эмчезники, и наступит затишье как перед концом света. И ты, как бог этого места или как боец в мертвой зоне обстрела с обоих фронтов, оглядываешься назад, а там вместо смерти зайцы водят хоровод возле твоей сторожки и в воздухе, напоенном молчанием и желтыми листьями, словно бы открывается дверка. И важно в нее не пойти, потому что потом будет зима и снега будет столько, что провалится крыша на барачке, в котором живет Финлепсиныч. А Индрыч на Хуторе вместо тропинки будет рыть траншеи в снегу вместо физкультуры, потому что Индрыч любит упражнения, а нет лучшего упражнения, чем из вечности бытия у тебя на лице перебрасывать снег на лопате в вечность небытия у тебя за спиной.

Когда надо было позвать соседа Седуксеныча посмотреть его выставку деревянных икон, или икон дереву, или икон дерева, как угодно, то очень волновался, потому что лет двадцать соседствуют и лет десять не дружат. Один другого зовет Солнцев, другой другого зовет Самуилыч. И вкладывают в прозвища всю бездну презрения, с которой начинается любовь в Библии. И тогда повис на перекладине, приделанной на двух квадратных метрах кухни, она же прихожая, она же библиотека, она же спальная, она же мастерская. С какими-то выдвигающимися ящиками и запредельными пространствами, подвесными балюстрадами из серебряной и золотой морёбойки и непрерывными картинками. Детскими рисунками, фотографиями предков, цитатами из пленумов, отрывками из стихов знакомых поэтов. Комната – вот роман ненаписанный, который если бы мог, как хотел написать, считал свое писательское поприще законченным! Есть три интерьера на Соловках, доступных только кисти художника, но никак не словесному перечислению, потому что важны пропорции, насыщенность и разряженность. Гришина мастерская, Валокардинычев гараж, Финлепсинычева квартира. Вот настоящие метафоры бессмертия, или Платоновы пещеры, или логова Бера, божества древних племен славян, германцев и прочих индоарийцев, на которого когда оглянешься в бору или березовой роще, то испытаешь не только священный ужас смерти, но лингвистическое вдохновение. И поймешь, что позднейший язык весь соткан из намеков на нее, эту дверку: оборотничество, оборона, обернуться, вращаться, время, вера, вор, веревка.

Впрочем, я уклонился от предмета повествования. Так вот, вскочивши, повисши, на перекладине подтянулся пару раз, в эту дверку улетело усилие, и волнения как не бывало. Но я всегда ее боялся, этой минутной вспышки, в воздухе словно дверцы, которая то открывается, то затворяется на ветру. Ведь не паломницы Лимоны я на самом деле испугался и не эмчезсников с самурайскими мечами, и не того, что надо подчиниться, кланяться в пояс перед ужином из концентрированного горохового супа, поститься, петь акафист, а этот ужас, знакомый мне с детства. Как она здесь живет? Келии, которые были камерами, камеры, которые были келиями, теперь опять будут келиями, потом опять будут камерами.

Как в армии, я один раз подошел к старшине Беженару и говорю, Василий Иванович, здравствуйте! Теперь-то я понимаю, что у меня уже крыша ехала, оттого что он меня достал бесконечными нарядами и месячной гауптвахтой за то, что я с ним пререкался и качал права, будучи молодым бойцом. А старослужащие терпели, почему, до сих пор не понимаю. Тот, кто был в строевой части или на зоне, понимает, что перед обедом тянущий время обрекает себя на аутодафе. А они терпели, ничего не понимаю. Неужели, -бер-, дверка? Свирепые белорусы, кряжистые подростки, которые и разговаривать-то не умели, только водку пить, бутылки вместо стаканов. Я только удивлялся, как Вицын, понюхавши и окосевши, папино наследство. Неистовые чечены, которые, как крестonosцы, сначала ударяли по лицу или ногой в пах, а потом думали, зачем они это сделали. Таинственные таджики, которые уважали единственного из призыва, не постигаю.

Так вот, я уклонился (где провести осень). Или в городе Мелитополе, в котором уже нет времени, он уже в раю, мама моя так захотела. Где таинственная дверка разрослась до пределов городских окраин, от кладбища на лесопарке до Беякова на песчаной. Сначала она была – взгляд десятилетнего мальчика во дворе школы № 10 на проходящего мимо ворот прапорщика, что это папа, который недавно умер. Потом, через десять лет это уже целый парк, в котором после работы мы говорили с Олей Сербовой про то, что бывает в жизни то, что не бывает. Причем, она в основном имела в виду любовь, как всякая женщина и человек, ищущий в жизни счастья. Я говорил о чуде, как непосвященный, что можно его построить из каких-то косноязычных осколков, вроде кокетства и смазливости, но все еще было впереди. Потом это была городская больница, отделение хирургии, онкологическая палата. Больница на краю парка или парк на краю больницы, как смерть на краю жизни или жизнь на краю смерти, в зависимости от того, насколько вы любите осень.

Осень в Мелитополе это тоже не страшно, а я думал, что страшно. Только очень тоскливо, стыдно и одиноко. С мамой на кладбище к папе, на рынок и в парк. Город как замороженный смотрит и отчуждается с каждым днем все сильнее. Книжки, строчки и курево. И почти что теряя сознание. «Поехали, мама, со мною, я больше здесь не могу».

Вот и получается, что то, что остается, - это то, что имеем. Зарешеченное окно на улице Каргина в пригороде Мытищи в одноэтажном доме, который скоро снесут, последний в старом городе, сгоревшая за лето листва, воздух пепельного цвета. Марина говорит, что это теперь наука, что каждый год на полградуса жарче. «То, что ты говорил про глобальное потепление, про конец света, про запазуху русского севера, который теперь юг, место курорта и отдыха». Я киваю понимающе головой супруге, с ностальгической улыбкой, а сам в это время как Штирлиц, знаменитый советский разведчик Исаев, который заведовал третьим рейхом мимо Гитлера и Сталина, слежу краем глаза за своей судьбой.

Потому что только в Мытищах, на этой новой родине на окраине мегаполиса в начале апокалипсиса, будучи то ли мудаком, то ли мутантом, понимаю, что, когда я был зрителем на хуторе Горка на Соловках и там поливал себя горячей водой из ведерка, обнажившись, потому что надо было мыться хотя бы раз в месяц, а в окна без штор, как положено по уставу гарнизонной службы для сторожа, который охраняет, заглядывали призраки, архимандриты, зэки, начальники лагерей, самоубийцы, шестидесятники. А я драил себя мочалкой и знал, что в последний момент за два дня до припадка я все равно уеду в Мытищи, проснусь и буду помнить только что такое «я» и «ты», остальное мне расскажет Марина, а я всё запишу. Про Аню, которая рисует (дочка), а потом бросит рисовать и займется конным спортом, это она тоже расскажет. Про бабушку Женю, с которой мы десять лет бились самурайскими мечами, кто кого круче подставит, сделали себе харакири и оказались родственниками, как все люди на земле. Про меня, что я на острове пишу книжку «Чмо», как тридцать тысяч сброшенных с горы Секирная и три миллиона мучеников на острове Соловки сняли шапки-соловчанки и говорят просительно, «Напиши, напиши, пожалуйста, как камень, отвергнутый при строительстве стал во главе угла. А мы в ответку попросим Спасителя, для нас у него блат, чтобы он дал тебе мужество отвечать за свой базар».

Про себя, как десять и двадцать лет открывала вместо мужа коробочку и там смотрела всякие мультфильмы про метафизические приключения на листочках с чудовищными ошибками: тросник, впопых, принципиальное отсутствие синтаксиса. А все остальное делала сама. Учила подростков думать мысли в школе, растягивала деньги, которых не хватит на неделю, на месяц, рожала, делала аборты, любила мужчину, оправдывалась перед мамой, почему муж не работает, потому что редактора халтурят, а работу эту бросать нельзя. Верила, изверивалась, понимала, не понимала, шила одежду себе, мужу и дочке, находила новые места, в которых время уже остановилось, как осенью в любом месте бывает такая пора, даже где не видно небо за панельными многоэтажками и не видно земли за асфальтом и автомобильным смогом. Ты просыпаешься и понимаешь, откуда это недовольство собой. Что не в Швейцарские Альпы с семнадцатилетними сослуживицами, не в серфинг-клуб, не в боулинг, не на рыбалку, а в эту раскрытую дверку, полупрозрачную в воздухе непрозрачном от глобального потепления скоро надо будет уходить, а готов ли ты к этому? Ведь ни молчание самоубийцы, ни бунт запойного не помогут тебе там, потом не стать в очередь к какому-нибудь чму зачмленному, живущему неживущему. Кто последний несчастный мученик к тому, кто отпоеет?